

Станислав Лем

Магелланово облако

ВСТУПЛЕНИЕ

Я – один из тех двухсот двадцати семи человек, что покинули Землю и устремились за пределы Солнечной системы. Мы достигли намеченной цели и теперь, на десятом году путешествия, отправляемся в обратный путь.

Вскоре наш корабль достигнет половины скорости света. Однако пройдут годы, прежде чем, подобно голубой пылинке среди звезд, возникнет из мрака Земля, невидимая сейчас в самые мощные телескопы.

Мы привезем вам дневники экспедиции – огромный, еще не осмысленный и не систематизированный материал, в точности запечатленный в механической памяти нашей аппаратуры.

Мы привезем вам ценнейшие научные труды, созданные за время полета. Открываются новые, непредвиденные, безграничные перспективы дальнейших исследований в глубинах Вселенной.

Но в этом путешествии мы познали и нечто более трудное и прекрасное, чем научные открытия и тайны миров, – что неподвластно никаким теориям, чего не может зарегистрировать самая совершенная аппаратура.

Я сижу один. В полумраке, заполняющем кабину, едва различимы контуры оборудования и стоящее передо мною небольшое устройство. Внутри него мерцает крошечный, как крупинка, кристалл: на нем будет записываться мой голос. Прежде чем начать говорить, я закрыл глаза, чтобы ощутить вашу близость. В эти мгновения я вслушивался в великую черную тишину – без конца и края. Я попытаюсь рассказать вам, как мы ее победили. Это будет история о том, как, удаляясь от Земли на световые расстояния, мы становились все ближе к ней, как боролись со страхом, который гораздо страшнее любых порождений материального мира, со страхом пустоты, в безднах которой огромное солнце превращалось в мерцающую искорку и маленькими казались любые громадины.

Я расскажу о том, как мелькавшие недели, месяцы, годы стирали в памяти

самые дорогие, самые сокровенные воспоминания – бессильные перед всепоглощающей чернотой. Как в попытках найти точку опоры мы отчаянно хватались за все новые и новые дела и мысли, как рушились и уходили в небытие представления, в свете которых на Земле наша экспедиция казалась безусловно оправданной и необходимой; как в поисках ее высшего смысла мы обращались к минувшим эпохам и, лишь осознав, какой тернистый путь пройден человечеством, обрели себя, а наше время – настоящее, отделяющее бездонное прошлое от неведомого будущего, – исполнилось при этом такой мощи, что мы сумели выстоять и в победах, и в поражениях.

Чтобы вы смогли понять это хотя бы частично, хотя бы приблизительно, я должен дать вам ощутить хоть малую толику трудностей, которые тяжким бременем ложились на нас и нас терзали. Вместе со мной вам предстоит пережить множество событий и провести в черной пустоте те долгие годы, когда нам доводилось слушать внутри корабля самое страшное из всего сущего – безмолвие Вселенной, видеть в небесах, то черных, то багровых, рождения и угасания солнц; годы, когда за стальными стенами раздавался вой раздираемых атмосферных покровов встречных планет – мертвых, или населенных разумными существами, или таких, на которых жизнь еще зарождается.

К кому из вас я обращаюсь с рассказом о том, что нам довелось испытать, о том, как мы жили и умирали?

Мне хотелось поведать об этом моим близким – матери, отцу, друзьям юности, – людям, с которыми меня соединяло мимолетное, но самое прочное: шум деревьев, шепот воды, общие мечты и голубое небо, по которому ветер гнал облака над нашими головами. Однако, восстанавливая в памяти их образы, я понял, что не вправе так поступать. Этих людей я люблю не меньше, чем прежде, хотя теперь мне это труднее выразить, но рассказ я адресую не только им: с течением времени, по мере того как росло расстояние между Землей и нами, круг близких ширился и рос.

Все эти годы на разных континентах, в городах и маленьких селениях, в лабораториях на горных вершинах и искусственных спутниках Земли, в обсерваториях на Луне и в ракетах, бороздивших межпланетное пространство, миллионы людей каждую ночь устремляли взоры в сектор неба, где мерцала слабая звездочка – цель нашей экспедиции. Ведь когда

мы скрылись в бездне – за гранью солнечного тяготения, с каждой секундой удаляясь от Земли на десятки миль, – ваша память продолжала сопровождать нас. Если бы не вера миллиардов людей в наше возвращение, чем бы мы были в этой металлической скорлупе среди мрака, усеянного звездами, когда, подчиняясь законам физики, наша связь с Землей прервалась?

Поэтому круг моих друзей охватывает людей близких и далеких, забытых и неизвестных, родившихся уже после нашего отлета и тех, кого я уже не увижу никогда. Все вы мне одинаково дороги, и в эту минуту я обращаюсь ко всем вам. Наверное, необходимы были именно такие расстояния, такие страдания и все эти долгие годы, чтобы я понял, как велико то, что нас объединяет, и как ничтожно то, что нас разделяет.

В моем распоряжении немного времени. Я тороплюсь рассказать обо всем, что с нами случилось, поэтому мое повествование временами может становиться сумбурным, но стремиться я буду к одному. К тому, чтобы показать вам, как обстоятельства, с которыми мы стремились совладать, подтолкнули нас к необходимости окинуть хотя бы беглым взором путь, пройденный человеком с начала его истории.

Эта экспедиция кажется нам покорением огромной вершины, с которой становятся доступными взору все времена, однако на деле это всего лишь подъем на одну из ступеней неизмеримой возвышенности, пик которой скрывается в будущем. Пройдут сотни и тысячи лет, на фоне которых наша история сконденсируется до размеров крошечного, хотя и неперменного этапа, и все эти события, сегодня нашей кровью оплачиваемые, станут мертвой буквой в забытых летописях. Мы станем безымянными, как далекие звездные россыпи, среди которых только огромные скопления обретают названия. По сравнению с человеческой жизнью звезды – огромные, сильные, вечные. Ведь это звезды породили человека, и звезды его убивают. Но вот человек взлетел к звездам, познал пространство и время, познал и самые звезды, истоки своей жизни. Противостоять человеку не может ничто. Чем большие преграды возникают на его пути, тем сильнее он становится. Даже звезды стареют и гаснут, а мы остаемся.

Когда-нибудь, спустя века, наша фантастически развившаяся цивилизация после эпохи бурного, стремительного прогресса столкнется с новыми трудностями, неизвестными, грозными для самого человеческого бытия, и

тогда люди еще раз оглянутся назад и вновь нас откроют — так же, как мы открывали для себя эпоху великого прошлого.

ДОМ

Я родился в Гренландии, недалеко от Полярного круга, в той части острова, где тропический климат сменяется умеренным, а пальмовые рощи уступают место высокоствольным лиственным лесам. У нас был старый дом со множеством сверкающих стеклами окон и веранд; такие строения часто встречаются в тех местах. Окружавший его сад сквозь открытые почти круглый год двери и окна проникал в комнаты нижнего этажа. Тесное соседство цветов, все ближе подступавших к дому, причиняло нам разного рода неудобства, и отец даже пытался бороться против чрезмерного, как он говорил, засорения жилища цветами, но бабушка, при поддержке мамы и сестер, одержала верх, и отцу в конце концов пришлось переселиться на второй этаж.

У этого дома была долгая и достойная история. Он был построен в конце XXVIII века и стоял на автостраде, ведущей в Меорию; но, когда в этом районе воздушные сообщения окончательно вытеснили наземный транспорт, на дорогу стал наступать лес, и место, где она когда-то проходила, можно было отличить лишь по тому, что тут росли более молодые деревья.

Каким дом был внутри, я почти не помню. Закрыв глаза, я вижу его лишь издали, сквозь листву деревьев. Это, впрочем, легко понять, потому что я постоянно находился в саду будто жил в нем. Там был искусственный лабиринт из кустарников, у входа стояли на часах два стройных тополя; далее начиналось хаотическое переплетение тенистых тропинок, по которым надо было очень долго идти – вернее, бежать (кто же ходит степенно в четыре года!), – чтобы попасть в высокую беседку, обвитую плющом. Сквозь просветы между листьями был виден лесистый горизонт. На западе каждые несколько секунд взмывали в небо огненные линии: от нашего дома до ракетного терминала в Меории было меньше восьмидесяти километров. Еще и сегодня я с закрытыми глазами мог бы отыскать каждый сучок, каждую ветку, которую видел в этой беседке. Здесь я взмывал выше туч, плавал по океанам, был капитаном дальнего плавания, водителем ракеты, астрогатором и путешественником, открывавшим новые планеты и

живущих на них людей или терпевшим крушение в межпланетном пространстве, а временами – всем сразу.

С братьями и сестрами я не играл: слишком велика была между нами разница в возрасте. Больше всего времени уделяла мне бабушка, и мои первые воспоминания связаны именно с ней. После обеда она выходила в сад, разыскивала меня в самых глухих зарослях, брала на руки и усаживалась на террасе. Вместе с ней я всматривался в небо, пытаюсь разглядеть маленький, розовый и круглый, как пионы перед домом, самолет, на котором должен был прилететь отец. Я всегда боялся, как бы он не заблудился в пути.

– Не бойся, глупыш, – говорила бабушка, – папа найдет нас: он летит по ниточке, которая тянется из радиоклубка. – И она показывала на антенну, серебряной тростинкой поднимавшуюся над крышей дома.

Я от удивления широко раскрывал глаза.

– Бабушка, там нет никакой нитки!

– Это у тебя еще очень маленькие глазки. Подрастешь – увидишь.

Бабушке было всего восемьдесят шесть лет, но мне она казалась невероятно старой. Я думал, что бабушка была такой всегда. Она гладко зачесывала седые волосы и завязывала их сзади тугим узлом, носила синие или фиолетовые платья и не носила никаких украшений, кроме узенького перстня на среднем пальце. Моя старшая сестра Ута сказала мне однажды, что в кристаллике, вделанном в этот перстень, спрятали голос дедушки – когда тот еще был жив, молод и любил бабушку. Это меня удивило до глубины души. Однажды за игрой я незаметно приложил ухо к перстню, но ничего не услышал и пожаловался бабушке, что Ута сказала неправду. Та, смеясь, пыталась уверить меня, что Ута не солгала, а когда увидела, что я все же не верю, немного поколебавшись, вынула из своего столика маленькую коробочку, приложила к ней перстень, и в комнате послышался мужской голос. Я не понял того, что он говорил, но был очень доволен и удивился, увидев, что бабушка плачет. Подумав немного, я тоже заплакал. Тут вошла мама и застала нас обоих в горьких слезах.

При жизни дедушки (это было еще до моего рождения) бабушка была модельером женской одежды. После его смерти она оставила работу и

переехала к младшему сыну – моему отцу. От прежних лет у нее остались кипы папок с рисунками платьев. Я любил их рассматривать – среди них попадались удивительные рисунки. Время от времени бабушка придумывала какое-нибудь платье маме, ее сестрам, а иногда и себе. Это обычно было модное платье, из материала, менявшего цвет и рисунок в зависимости от температуры воздуха. Я смеялся до слез, пытаясь угадать, какого цвета будет материя и какой на ней появится узор, если ее разостлать на солнце.

Отец мой был врачом, и ему приходилось отлучаться из дому в любое время дня, а иногда и по ночам. Его любимым местом отдыха была веранда, где он лежал, всматриваясь сквозь цветные стекла в облака. При этом он чуть заметно улыбался, словно его радовала изменчивость их очертаний. Когда я играл около дома, он иногда подходил ко мне, рассматривал с высоты своего роста мои постройки из песка и потом молча удалялся. Мне это казалось проявлением его суровости; теперь же я думаю, что он просто был деликатен. За столом маме и бабушке приходилось не раз повторять сказанное, потому что он всегда был немного рассеян; когда собиралось более многочисленное общество, например, когда к нам приезжали его братья, он предпочитал не говорить, а слушать других. Только однажды он удивил и даже напугал меня. Не помню точно, при каких обстоятельствах я увидел по телевизору, как папа оперирует больного. Меня немедленно выпроводили из комнаты, но у меня в памяти запечатлелось нечто пульсирующее, кровавое и над этим страшным лицом отца, как бы застывшее в гневе, с мучительно напряженным взглядом. Эта сцена возвращалась ко мне в снах, которых я боялся.

Отца по вечерам навещали его братья. Иногда они собирались все вместе – это называлось «заседанием семейного совета» – и сидели до поздней ночи в столовой под большим лилиодендромом, разлапистые листья которого простирались над их креслами. Я никогда не забуду своего первого выступления на этом совете. Однажды, проснувшись среди ночи, я испугался и начал плакать. Никто не приходил, и я в отчаянии бросился бежать по темному коридору в столовую. Мамы в комнате не было, и я решил влезть на колени к дяде Нарриану, который сидел ближе всех. Но когда мои протянутые руки прошили как пустоту фигуру дяди, я в ужасе, с отчаянным криком бросился к отцу. Он подхватил меня и долго укачивал, объясняя:

– Ну, ну, сынок, не надо бояться. Ты же видишь, дяди Нарияна в действительности здесь нет: он у себя дома, в Австралии, а к нам пришел всего лишь с телевизитом. Ты ведь знаешь, что такое телевизор? Вот он, на столике. Когда я его выключу, то дяди не будет видно. Вот – трак! – видишь?

Отец считал, что, если подробно разъяснить ребенку суть непонятого явления, у него пропадет страх. Однако должен признаться, что до четырех лет я не мог освоиться с телевизитами дядей, – Нариян жил в Австралии, близ Канберры, Амиэль – за Уралом, а третий, Орхильд, – иногда в Трансваале, а иногда – на южном склоне лунного кратера Эратосфен. Он был инженером и выполнял какие-то крупные работы в межпланетном пространстве, в бездонных пропастях пустоты, где проводил половину жизни, и из-за этого отец окрестил его «Пропашим» или «Пустотным». Четвертый, старший из братьев, Мерлин, жил на Шпицбергене, всего в тысяче трехстах километрах от нас, и еженедельно по субботам являлся к нам собственной персоной.

Теперь я должен рассказать вам о семейном предании, сочиненном дедом и переходившем от одного поколения нашей семьи к другому. Моя бабушка при всем богатстве ее ума и сердца отличалась исключительной рассеянностью, что причиняло ей немало огорчений. Дедушка – не знаю, хотел ли он утешить бабушку или сам верил в то, что говорил, – утверждал, что рассеянность присуща только артистическим натурам. Исходя из этой теории, бабушка с дедушкой ожидали, что у кого-нибудь из их детей обязательно проявятся незаурядные художественные способности, а когда эта надежда не сбылась, дед внес в свою теорию поправку: способности передаются через поколение, великими художниками будут не дети, а внуки.

Мои сестры не оправдали этих ожиданий. Брат уже с детских лет питал особое пристрастие к технике. Не исключено, что у нас на крыше до сих пор сохранилась сконструированная им «воздушная кровать» – система вентиляторов, выбрасывающих вверх сильную воздушную струю, способную свободно держать на весу тело человека. Свое изобретение брат испытал на мне – впрочем, без особого моего на то желания: находясь в метре над полом в объятиях ураганной струи, невозможно было не только отдыхать, но и просто дышать. Истории, подобные этой, позволяли предполагать, что брат станет изобретателем. Разочарованная бабушка

пришла к выводу, что искусству – теперь уж наверное – посвятит себя самый младший из внуков, то есть я. Поэтому, хотя я и доставлял родителям немало хлопот, мне сходили с рук многие проделки, за которые отшлепали бы других детей. Например, когда мне исполнилось три года, меня привели в хранилище игрушек; я этого события не помню, но много раз слышал рассказы о нем. Ошеломленный огромным количеством сокровищ, которые могли стать моими, я бегал по зеркальному залу и хватал все, что попадалось под руку – модели ракет, воздушные шары, радиоволчки, куклы, – и не только не мог расстаться ни с одной из этих прекрасных игрушек, но набирал все новые – одну за другой. Я столько всего навьючил на себя, что наконец свалился под этим бременем, крича и плача от охватившего меня гнева. Бабушка начала что-то говорить об импульсивной натуре артистов и художников, но точка зрения отца была более прозаичной.

– Этот бутуз просто дик, потому что вырос в лесу, – сказал он и, повернувшись ко мне, добавил: – Если бы ты родился в древности, то стал бы пиратом или конквистадором.

Как я уже говорил, другие дети в нашей семье были много старше меня. Я еще только начинал читать по слогам, когда обе мои сестры окончили курс метеотехники. Старшая, Ута, как-то в порыве снисходительности рассказала мне о чудесных возможностях ее профессии: во время дежурств на местной климатической станции она управляла погодой.

– А если бы ты не пошла на дежурство, что бы тогда было? – спросил я ее.

– Тогда не было бы никакой погоды.

Не знаю почему, но из этого разговора я сделал вывод, что от Уты зависит не только погода, но и вообще существование мира. Будучи уверен, что, если бы не Ута, с миром произошло бы нечто ужасное, я преисполнился уважением к сестре. Но вскоре она подарила мне прибор «Юный метеотехник», при помощи которого я мог управлять движениями небольшой тучки. Тут во мне проснулись смутные подозрения. Я обвиняками выпросил у сестры, зависит ли от нее еще что-нибудь, кроме движения туч и ветра. Не догадываясь, к чему я клоню, она сказала, что не зависит, и вместе с другой сестрой – Лидией, лишилась в моих глазах ореола могущества.

– Да-а? – протянул я. – Тогда знаешь что? Метеотехника тогда вообще никому не нужна. Не знаю, как вам, женщинам, – великодушно добавил я, – но нам, мужчинам, как раз нужны бури, ураганы, вихри, а не какой-то искусственный конфетный климат.

Ута насупила брови и лаконично ответила:

– Смотри-ка лучше свои штаны не потеряй.

Я долго не мог ей этого забыть.

Брат с высоты своего положения – ученика четвертого класса – пренебрегал мною. А мне было уже шесть лет, и я горел неугасимой жаждой приключений. В Меорию, во дворец детей, меня, как малыша, одного не отпускали, хотя от нас до города было недалеко, а давали в провожатые старшего брата. В свои четырнадцать лет он презирал инсценировки сказок и, когда на сцене происходили неслыханные чудеса, шепотом насмешливо рассказывал мне на ухо, что будет дальше, – хотя я его об этом не просил.

Бывая в Меории, я останавливался у витрины каждого магазина-автомата. Особенно сильно меня привлекали отделы игрушек и кондитерские. Я спрашивал маму, могла бы она взять себе все торты и все чудесные вещи, выставленные в витринах.

– Конечно.

– Почему же ты не берешь все?

Мама смеялась и говорила, что «все» ей не нужно. Этого я не мог понять. «Вот вырасту, – мечтал я, – тогда возьму себе и игрушки, и торты, и вообще все. У меня будет целая ванна крема!»

Однако прежде надо было вырасти, и я всеми силами старался ускорить этот процесс. Поэтому, когда ничего интересного не предстояло, я с удовольствием уходил спать пораньше.

– И не стыдно тебе, такому большому мальчику, забираться засветло в постель? – спрашивала мать.

Я хитро помалкивал: мне-то было известно, что во сне время проходит быстрее, чем наяву.

На восьмом году жизни я впервые попытался навязать свое мнение близким. Тогда мы обсуждали, как отметить приближавшийся день рождения отца.

Вычитав в книгах что-то о древних властителях, я предложил построить отцу королевский дворец. Надо мной посмеялись, и я решил выполнить этот план своими силами. Мама попыталась втолковать мне, что отцу дворец не нужен.

– У него не было времени думать о дворце, – возразил я, – однако он, наверное, обрадуется, когда у него будет дворец.

– Да нет же. Подарок не может быть ни маленьким, ни большим. Давным-давно, в древности, существовал обычай дарить друг другу различные вещи, но теперь их дарят только детям, так как каждый взрослый может иметь все, что захочет.

Я считал такое неравенство очень обидным. Взрослые могли получить все, а что происходило, например, когда я за обедом настойчиво просил третий кусочек торта? Однако, не желая противоречить матери, я промолчал.

– Позавчера в саду, – продолжала она, – у тебя на коленях заснула собачка, помнишь? Тебе было неудобно, но ты не пошевелился, потому что не хотел, чтобы ей было неприятно. Тебе доставляло удовольствие то, что ты делал для собачки, правда? Вот и отцу ты должен сделать что-нибудь такое, что ему было бы приятно. Увидишь, как он обрадуется.

– Хорошо, – возразил я. – Но отец ведь не спит у меня на коленях.

– Допустим. Но зачем тебе шуметь и пускать фейерверк у него под окнами вечером, когда он читает?

– Фейерверк я могу и не зажигать, – сказал я, – но этого очень мало.

От мамы я ушел в задумчивости. Голова была занята проектом королевского дворца.

У нас, как и в любом доме, было много автоматов. Они делали уборку, занимались хозяйственными делами, работали на кухне и в саду. Садовые автоматы, которые ухаживали за цветами и деревьями, назывались монотами. Первый монот появился у нас еще при бабушке. Он часто сажал меня на шею и носил, чего терпеть не могла наша овчарка Плутон. Впрочем, собаки вообще не любят автоматов. Бабушка говорила, что все низшие существа, как правило, боятся автоматов, потому что не понимают, как может двигаться неживой предмет. Это замечание запало мне в сердце – я ведь тоже не понимал, почему автоматы двигаются и выполняют разные поручения; так, значит, я тоже низшее существо? Поэтому, прежде чем приступить к строительству дворца – а вести его должны были наши автоматы, – я забрался с обоими монотами в самую глушь сада и приказал одному из них разбить живот у другого, чтобы посмотреть, что у него внутри. Автомат отказался мне повиноваться. Весьма рассерженный, я разыскал самый большой молоток, какой только мог найти дома, и сам принялся за работу, но не смог ничего поделывать с металлическим панцирем автомата. Увлечшись работой, я совсем забыл, что наступило время послеобеденного отдыха отца, и бил молотком так, что грохот разносился по всей округе. Вдруг я услышал над собой чей-то голос. Красный как рак, еле живой от усталости, я поднял глаза и увидел отца, горестно качавшего головой.

– Если бы хоть часть этой энергии ты тратил на занятия! – сказал он и отошел от меня.

Когда мне должно было исполниться девять лет – это событие пришлось на весну 3098 года, – мама сказала, что, если я буду вести себя хорошо, мы через две недели всей семьей отправимся на Венеру. Это будет мое первое межпланетное путешествие! В оставшееся время я вел себя чрезвычайно примерно. Вечером накануне отъезда к нам самолично заявились все дяди. Мама ознаменовала это событие чудом кулинарного искусства – лунным тортом, изготовленным по секрету от всех. Его поставили на стол, и в какой-то момент он зашумел и выбросил из кратера крем, потекший по шоколадным склонам.

Я тайне надеялся, что во время путешествия на Венеру с нами произойдет катастрофа и мы, потерпев крушение, высадимся на какой-нибудь встречный астероид. Чтобы не быть захваченным врасплох, я решил запастись продовольствием; самым подходящим для этого мне показался

торт. Я стащил из кладовой огромный кусок и спрятал на дно моего маленького чемодана.

На следующий день рано утром мы отправились на ракетный терминал в Меорию. Полет на Венеру продолжался недолго и обошелся без всяких катастроф. Глубоко разочарованный, я не стал глазеть на черное небо со смотровой палубы, забился в угол каюты и, чтобы не испортились запасы, ел свой торт, пока динамики не сообщили, что мы приближаемся к ракетодрому Венеры. Последствия были печальны: от посещения Венеры мне запомнились лишь боль в животе, разрисованный цветочками и птичками кабинет детской поликлиники да толстяк доктор, который шел ко мне, заранее смеясь и спрашивая, как мне понравилось у них на планете.

На другой день надо было возвращаться домой. Меня, заливавшегося слезами, посадили в ракету. У меня уже было достаточно сил, чтобы переживать случившееся, которое – этого я больше всего боялся – могло стать предметом насмешек брата и сестер. Поэтому на обратном пути я хранил таинственное, мрачное молчание, которого, впрочем, никто не заметил. Так закончилось мое первое космическое путешествие.

Я не буду множить подобные истории, беспорядочно сохранившиеся в памяти, как ненужные безделушки, с которыми трудно расстаться. Я их хорошо помню, но не могу отыскать в себе ничего от ребенка, который был их героем. Что осталось у меня от всего этого? Любовь к сказкам? Нелюбовь к тортам? Пожалуй, и все. Но в том немногом, что осталось, таится отсвет затерянного где-то на самом дне моего существа непонятого и недостижимого мира, который изредка, вызывая в душе легкую грусть, возвращается ко мне с оттенками вечернего неба, с шумом дождя, забытым запахом или видом затененного уголка.

Когда много лет спустя я вернулся домой, наш сад поразил и почти испугал меня. Я узнавал каждую клумбу, каждое дерево, но там, где прежде передо мной открывались целые страны, в которых происходили волнующие события, теперь не было ничего. Обычный сад – с цветами, беседкой, яблонями, кустарником... И каким маленьким все это оказалось. Путь от дома до калитки некогда был путешествием куда более захватывающим,

чем теперь полет вокруг земного шара! Да, за несколько лет вся Земля стала для меня меньше того сада, в котором прошло мое детство. Потому что исполнились заветные мечты: я вырос и мог делать все, что хотел... Но это уже другая история.

МОЛОДОСТЬ

Подростком я сделал для себя несколько открытий. Самые важные были связаны с братьями моего отца. Я давно знал, что старший из них, дядя Мерлин, изучал камни. И сомневался – в своем ли он уме: что интересного могло быть в камнях? Однако потом оказалось, что он умеет рассказывать о камнях истории, которые в тысячу раз интереснее сказок. В его рассказах плагиоклазы магмовых скал, хризолиты и мелоподобные мергели приобретали таинственные, романтические черты. При помощи яблока и салфетки он умел показать, как возникают горные хребты, а когда рассказывал о мантиях лавы, которыми покрыты остывающие планеты, я видел небесных гигантов, одетых в развевающиеся плащи из багрового пламени. Другой дядя, Нарриан, тот самый австралиец, который когда-то перепугал меня во время телевизита, создавал искусственный климат на больших планетах, был властелином метановых ураганов и повелителем бурь, вздымающих океаны углеводородного льда. А какие миры раскрывались в его рассказах! Он говорил мне о Летающем континенте Гондвана, об удивительном небе Юпитера, похожем на опрокинутую чашу, в которой маленькое солнце светит днем и ночью, об экваториальных пространствах Сатурна, на которые большую часть года падает тень гигантских вращающихся колец, о своих юношеских экспедициях на холодные спутники этой планеты, носящие имена, похожие на заклинания: Титан, Рея, Диана.

И все же, хотя и с тяжелым сердцем, я изменил им обоим и решил пойти по стопам третьего дяди – Орхильда, по семейным прозвищам – Пропащего или Пустошного. Зная, что дядя Орхильд бомбардирует атом, я представлял себе, как он без усталости корпит где-нибудь в межпланетной лаборатории и пытается наконец поймать эту мельчайшую частицу материи. Что же оказалось в действительности? Этот исследователь бесконечно малого занимался как раз тем, что строил объекты, по своим размерам во много раз превосходящие любое сооружение на Земле и даже самую Землю. Разве не было поразительно, что путь в глубь Космоса, как и в глубь атома, одинаково приводил к бесконечности? Дядя Орхильд строил машину для бомбардировки атомов. Это было кольцо из труб; магнитные поля ускоряли

в нем нуклоны – снаряды, стрелявшие в ядра атомов. Самый большой ускоритель ХХХ века выглядел как замкнутая окружность диаметром в три тысячи километров: его изогнутая труба бежала по туннелям, проложенным сквозь горные цепи, по мостам, пересекающим долины. Следующим этапом мог быть, пожалуй, только ускоритель, опоясывающий весь земной шар. Значит, конструкторы дошли до предела, через который невозможно перешагнуть? Нет, возник совершенно новый замысел: было решено построить новый гелиотрон в космическом пространстве. Мне казалось, что гелиотрон должен был быть кольцеобразной системой труб, плавающей где-то между Землей и Луной. Но дядя Орхильд вывел меня из заблуждения: основной материал для конструкции – отличного качества пустота – имелся в космическом пространстве в избытке. Ракеты доставили с Земли многие тысячи магнитных катушек. Их расположили в пространстве так, чтобы они образовали идеальную окружность. Что же делал дядя? Может быть, следил за этой работой? Нет, он как раз занимался тем, что было между магнитными катушками, то есть пустотой. Значит – ничем? Вовсе не так. Из того, что он говорил, вытекало, что нет более богатого возможностями объекта, чем эта «пустота», через которую проходят электромагнитные поля – гонцы и посланники далеких миров.

Он не наносил нам телевизитов, потому что при этом нельзя было влезать на деревья, что он очень любил. Зато, когда он приезжал, мы взбирались на одну из самых высоких яблонь в саду, усаживались в развилине между сучьями и, грызя твердые яблоки, вели ожесточенные споры о фотонах – самых быстрых и невесомых частицах материи. Было бесповоротно решено, что я стану энергетиком космического пространства.

Но наступили летние каникулы 3103 года, и эти планы неожиданно рухнули. Мне исполнилось четырнадцать лет, и родители разрешили мне самостоятельно совершать экскурсии на расстояния в несколько сот километров.

Однажды я полетел на Гельголанд. Знаете ли вы этот маленький островок в Северном море, древнюю базу и одновременно музей космических кораблей? Там, среди стройных елей и выветренных доломитовых скал, высится огромный ангар с высокими окнами, покрытыми чем-то похожим на иней: это налет соли, приносимой ветром с океана. В середине ангара, под сводами, нависшими над скоплением подъемных кранов, напоминающими позвонки и ребра допотопного кита, стоят рядами на

покое огромные корабли.

Хранителем музея был краснолицый старик с окладистой бородой, в которой, словно забытые, сверкали кое-где золотистые волосы. Я обнаружил его в реакторном отделении одной из ракет. Теперь здесь царил запах пыли и ржавчины. Старик стоял над кварцевыми ваннами, в которых некогда бурлил жидкий металл. Свет, проникавший снизу через незакрытый люк, вырывал из темноты его белую бороду. Я сначала перепугался, когда он вырос передо мною, – мне казалось, что во всем огромном сооружении, кроме меня, нет никого. Я вздрогнул и спросил, что он тут делает.

– Да вот смотрю за ними... чтобы не улетели, – ответил старик после столь длительного молчания, что я начал сомневаться, ответит ли он вообще. Он постоял надо мной – я слышал его напряженное, тяжелое дыхание – и молча спустился по трапу в нижнюю часть зала.

После этого я стал часто ходить в музей. Я пытался сблизиться со стариком, но он, казалось, избегал меня, скрываясь в лабиринте кораблей; когда наконец я его находил, он отвечал на вопросы лаконично, с примесью непонятого сарказма. Однако, по мере того как мы знакомились ближе, старик оттаивал и становился все разговорчивее. Благодаря ему я постепенно изучил биографии судов, стоявших в зале, и многих других звездных кораблей, потому что он – я непоколебимо верил в это – знал судьбы всех судов, какие когда-либо курсировали в пределах Солнечной системы за последние шесть веков.

На Гельголанде я гостил в семье дяди, брата матери, и почти каждый день ездил в ангар. Старик-смотритель все больше углублялся в недра своей, как мне казалось, неистощимой памяти, но сам он для меня оставался загадкой: о себе он не рассказывал никогда. Я предполагал, что он был капитаном межпланетного корабля, может быть, даже руководителем крупных экспедиций, но не спрашивал об этом: мне нужен был именно такой человек – окруженный ореолом таинственности.

У самого входа в зал, между колоннами, стояли четыре древние ракеты, построенные на судостроительных верфях тысячу лет назад, – архаичные, стройные веретена с острыми носами и хвостовым оперением, как у стрелы. Первые две ракеты тяжело опирались своими шасси на покатую

бетонную площадку; третья была приподнята. Ее правый костыль касался края фундамента; левый был выпущен лишь наполовину и торчал в воздухе, подогнутый, как лапа мертвой птицы. Этот старейший межпланетный корабль высоко задирал клюв, словно готовый к старту, который почему-то откладывался, хотя его время уже наступило. Дальше лежали похожие на трехгранных рыб ракеты, построенные в XXIII веке. Я поначалу думал, что все они выкрашены в черный цвет, но оказалось, что их заботливо окутывал мрак, как бы стремясь из жалости скрыть ржавые пятна и вмятины на боках.

Я хотел сказать, что старик руководил моим осмотром ракет, но это было бы неправдой. Мы вместе поднимались по крутым лестницам на узкую металлическую галерею, откуда были видны ряды темных хребтов с зияющими колодцами люков. Перед нами открывались створки шлюзов, круглые люки, каюты, багажные отсеки и межпалубные трапы. По ним мы спускались до самого дна трюмов, в которых, по-старинному сверкая рубиновой смазкой, размещались похожие на ножницы подъемники шасси. По темным суживающимся туннелям, разделенным свинцовыми защитными переборками, мы добирались до атомных камер. У почерневших стен, шероховатых от высоких температур, стояли согнутые скелеты магнитов. Между ними когда-то бушевали атомные частицы, рождая силу и движение, теперь же все было покрыто пылью.

Во время наших прогулок старик оставался безучастным и хмурым, во всяком случае постоянно равнодушным к взрывам моего восторга, как и вообще к тому, что я говорил. А говорил я, пожалуй, без умолку. И лишь когда, осмотрев все закоулки ракеты, мы возвращались в ее центральные помещения, роли наши менялись.

Куда позже я понял, что он ждал, чтобы я, удовлетворив самое поверхностное, крикливое любопытство, пожелал узнать нечто более важное, чем особенности древних атомных конструкций. Когда я познакомился со всеми кораблями и побывал в самых укромных их уголках, настало время его рассказов.

Старик как бы случайно встречал меня у входа. Мы проходили пустой,

обширный ангар, миновали неподвижные корпуса судов, вздымавшиеся на высоту в несколько этажей – с раскрытыми настежь люками, из которых веяло холодом, – и поднимались по гулким металлическим ступеням внутрь длинноклювого серебристого гиганта, великого «Астронавта», внешне как бы даже нетронутого временем. Подходя к центральной штурманской рубке, где на возвышении, между посеребренными экранами телевизоров и распределительными щитами, размещалась рулевая аппаратура, старик как бы случайно останавливался и начинал говорить – отрывисто роняя фразу за фразой, вначале с невыносимо долгими паузами, затем все более быстро и плавно. Потом он открывал двери рубки – при этом на потолке автоматически вспыхивали лампы, – и тогда начиналось повествование одной из тех невероятных историй, которые запали в мое юношеское сознание и остались на всю жизнь.

Передо мной проходили сцены событий давних времен, когда полет на ближайшую планету был экспедицией в неизвестное, драмой с непредвиденным развитием и запутанным сюжетом, которая разыгрывалась в бесконечных пространствах Космоса, между двумя мирами: Землей, оставленной, быть может, навсегда, и таинственным, загадочным миром неведомой планеты. Это были легенды о кораблях, которых сила тяготения заставила обращаться вокруг неизвестных, не отмеченных на небесных картах астероидов, об отчаянной борьбе с мощным притяжением планеты-гиганта Юпитера, о пределах выносливости экипажей и прочности кораблей, саги о борьбе, о полетах в глубины Космоса и возвращении оттуда.

Я помню рассказ об одном корабле. В его машинное отделение ударил осколок распавшейся кометы, и корабль потерял управление. Двигаясь вслепую, он уходил в бесконечное пространство, посылая по радио отчаянные сигналы о помощи. На Землю эти сигналы поступали, отражаясь от Луны или какого-то другого космического тела. Они были искажены, и по ним нельзя было запеленговать корабль. Шли недели за неделями, сигналы становились все слабее, пока наконец не умолкли навсегда.

Другой рассказ был о том, как пассажирская ракета прямого сообщения Марс – Земля, возвращаясь в свой порт, не смогла миновать встреченное на пути скопление космической пыли и, выйдя из него, повлекла за собой пылевое облако. Во время полета этот своеобразный ореол не причинял

ракете вреда, но стоило ей войти в пределы земной атмосферы, как туча окружавшей ее пыли вспыхнула, и в несколько мгновений ракета сгорела со всеми пассажирами и грузом.

Рассказывая эти истории, старик время от времени вставал с удобного кресла, приближался к рычагам рулевого управления, протягивал руки, словно намереваясь положить их на черные рукоятки, но никогда до них не дотрагивался. Иногда он умолкал и мрачнел, его глаза рассеянно блуждали по каюте, как бы в бесплодных поисках того, что должно было появиться именно в этом месте рассказа; и я вместе с ним начинал видеть предметы, еще теплые от прикосновения рук астронавтов, медные пломбы гравитационных предохранителей, торопливо сорванные в минуту опасности рукой рулевого, слышал шаги вахтенного и, как и он, был наедине с великим и неустрашимым одиночеством среди звезд, мерцающих на черных дисках экранов. Пару раз мной овладевало беспокойство: мне казалось, что старик, излагая историю экспедиций, отступает от исторической хронологии, – но это скоро прошло. Я поддавался его влиянию, закрывал глаза на неточности, неправдоподобие и даже невероятность событий, о которых он рассказывал. Я верил ему, потому что хотел верить. Я неясно ощущал, хотя и не умел этого выразить, что, изменяя и переиначивая некоторые подробности, он делает это только для того, чтобы убедительнее выглядела правда о тех, кто первым отправился в область вечной ночи.

Я решил стать астронавтом. Меня удивляло – как вышло, что я до сих пор не замечал всей прелести этой увлекательной профессии. Дело, вероятно, было в том, что одной из специальностей межпланетных сообщений занимался мой брат, а наши отношения, выражаясь его языком, языком инженера-электрика, были всегда «под слишком высоким напряжением».

Когда я решился рассказать старому капитану о своем решении, он сначала не обратил на это внимания. Его молчание больно задело меня. Вскоре, однако, он сухо сказал, что таким астронавтом, какими были герои прошлых эпох, я уже не смогу стать. Теперь нет доблестных экипажей, которым приходилось бы сражаться с метеоритными тучами – этими лавинами межпланетного пространства; нет штурманов, прочерчивающих

каждую ночь отрезок пройденного пути на картах неба. Нет уже капитанов, без устали шагающих по металлическим палубам в час, когда измученная команда забывается сном; нет вахтенных и рулевых, устремляющих поверх звездных компасов свой взгляд к звездам. Десятки тысяч автоматически управляемых ракет кружат без людей по орбитам нашей Солнечной системы. Эти длинные поезда межпланетного пространства перевозят с планеты на планету сырье, минералы, руду, машины. Если на них и находятся люди, то это пассажиры, привыкшие к чудесам путешествий и пользующиеся услугами машин, которые следят за безопасностью полета.

Я робко заметил, что брат мой изучает астронавтику.

– Э! – Старик пренебрежительно махнул рукой. – Он учится строить пилоты-автоматы. Это все равно что назвать композитором человека, который делает трубы для оркестра.

Я поспешил повторить это изречение брату.

– Сам ты труба! – ответил тот.

Я остался наедине с моим душевным смятением.

У отца был друг, профессор-астроном Мурах, с которым я поделился своими сомнениями. В моем представлении он был на короткой ноге со звездами.

– Я не хочу строить роботы, управляющие ракетами. Хочу быть настоящим астронавтом, рулевым или капитаном космического корабля.

– Романтика старины! – терпеливо выслушав меня, воскликнул Мурах и печально покачал головой. – Слов нет, астронавтика – это прекрасно. Ну конечно, конечно! А читал ли ты книгу Руфуса «Атмосферы планет и звездоплавание»?

Этой книги я не знал. Профессор был очень доволен.

– Великолепно! Вот возьми и прочитай. Замечательная книга. Она полна неясностей, как туманный вечер. Огромная свобода для фантазии, для воображения! Да, да, астронавтика когда-то была очень трудным делом. Человек доходил до границ психической выносливости. Сколько в этой

книге великолепных страниц, описывающих победу человека над самим собой! Как красиво сказал Руфус: «Наш мир очень хорош для астронавтов: на каждые сто триллионов частей пустоты приходится одна часть твердой земли, есть где развернуться звездоплавателям. Да к тому же в пространстве столько звезд – этих огромных портовых огней среди океана тьмы!» Но знаешь ли ты, мой дорогой, почему именно астронавтика была таким трудным делом?

Этого я не знал.

– Как же так? – удивился Мурах и взглянул на меня сверху вниз. Там, где у других людей брови, у него были два маленьких взъерошенных кустика седых волос, которые живо шевелились, будто участвовали в беседе. Они смешили меня, внушая сомнения насчет убедительности слов профессора. – Я попробую объяснить, мой недозрелый звездоплаватель, твою ошибку. Известно ли тебе, что в свое время люди плавали по морям?

– На так называемых парходах? – поспешил ответить я.

– Правильно. Но еще раньше, в древности, они плавали на парусниках, используя движущую силу ветра. Так вот, пока они не усвоили точно гидростатику, гидродинамику, теорию волнообразования и другие науки, они строили корабли, понимаешь ли, на глазок, поэтому созданные ими суда обладали индивидуальностью. Нельзя было найти двух кораблей, которые были бы абсолютно схожи между собой, а самая незначительная разница в устройстве мачт, килей, в форме корпуса приводила к тому, что суда по-разному слушались руля. Испытывая опасности, приключения, терпя катастрофы, мореплаватели накапливали опыт, из которого возникло великое искусство кораблевождения. Это было, понимаешь ли, искусство, а не наука, потому что оно включало, помимо действительно научных данных, немало догадок, преданий, предрассудков. Чтобы водить суда, нужны были не только знания, но и личная храбрость, мастерство и талант. Однако позднее наука вытеснила все это, и для искусства осталось мало места. Подобная же история повторилась сто лет назад в звездоплавании.

– Значит, человек уже не может управлять ракетой? – спросил я. – Но я хочу управлять ею! Неужели это кому-нибудь повредит?

– Да, повредит, – возразил профессор, и его брови задвигались, как бородки

невидимых гномов. – Повредит, потому что ты будешь делать это медленнее и не так точно, как автомат, а значит – хуже автомата, не говоря уж о том, что человеку не пристало заниматься работой, которую могут выполнить автоматы. Впрочем, ты сам знаешь, что это не годится.

– Но на экскурсиях или в горах мы часто сами пилим дрова, разводим костры, варим пищу, а ведь ее можно приготовить при помощи кухонного автомата...

– Во время экскурсий мы делаем то, что полезно для здоровья человека, восстанавливает психику, радует его и так далее. А если ты поведешь ракету, то подвергнешь опасности груз, не говоря уже о самом себе.

– Большое дело – одна ракета! – вырвалось у меня.

Профессор довольно рассмеялся:

– Видишь ли, ты сам сделал невольное признание – мечтая о звездоплавании, ты не думаешь о труде и ответственности, тебе важна лишь их видимость, такая их доля, которая придаст полету «серьезность» и тем увеличит удовольствие. Двести лет назад звездоплавание было большим и трудным искусством, достойным настоящих мужчин, требовавшим всей жизни от тех, кто ему отдавался, и имена великих астронавтов стали достоянием истории. Но то, что было тогда необходимостью, сегодня в лучшем случае будет забавой, а в худшем – бессмыслицей.

Я был зол и на профессора с его непререкаемой логикой, и на старого хранителя кораблей, и на брата, словом – на весь мир. Однако от своего намерения не отказался: буду астронавтом, что-нибудь и для меня осталось. Профессора я попытался обмануть тем, что ничего ему не ответил, но он, очевидно, догадался о моих мыслях по скромно опущенным глазам.

– Значит, ты все-таки хочешь стать капитаном дальнего звездоплавания? – настойчиво спросил он.

И я, несмотря на данную себе клятву молчать, невольно выпалил:

– Хочу!

Профессор сначала широко раскрыл глаза, потом рассмеялся. Смеялся он долго. Наконец заговорил серьезно:

– Верно ли, что ты недавно перегрыз зубами свинцовый кабель?

– Верно, – мрачно ответил я.

Хотя никто из взрослых не выразил ни малейшего восторга по поводу этого поступка, я все же гордился им.

– Зачем ты это сделал?

– На спор, – ответил я, еще больше мрачняя.

– Ты очень упрям... Я слышал об этом от других, а теперь сам вижу. Гм!.. Что ж, может, со временем успокоишься... А пока почитай Руфуса...

Мурах смотрел на меня строго, но подвижные брови ясно говорили, что он на моей стороне...

Это были годы горячих споров, годы активной подготовки к первому полету за пределы Солнечной системы. По всему земному шару возникали специальные учреждения, в которых добровольцы подвергались тяжелым и опасным испытаниям: никто не знал, как будет воздействовать на человеческий организм скорость, превышающая 10.000 километров в секунду. А ведь было уже очевидно, что ракета, которая полетит на ближайшую звезду, должна двигаться по крайней мере в десять раз быстрее.

Я отправился в Институт скоростных полетов, расположенный в ближайшем городе, и предложил свои услуги в качестве добровольца. Ребенком я часто встречал одетых в белое работников таких институтов. На левом рукаве у них была нашита эмблема института – маленький серебряный луч. Они обычно пользовались большим уважением, подобно самым известным людям науки и искусства. В институте ко мне отнеслись с подчеркнутой любезностью: вероятно, добровольцев, подобных мне, приходилось принимать по несколько десятков в день. Помимо горячего желания, у меня, пожалуй, не было никаких других данных, поэтому со мной попрощались с заверениями, что если я буду хорошо учиться, то через пять лет могу явиться вновь и тогда меня допустят к вступительному

экзамену.

Так и ушел я ни с чем. Жестоко разочарованный, я строил самые фантастические планы: мечтал полететь в космическое пространство на одноместной ракете, надеясь на то, что прежде чем кончатся припасы, я повстречаю какое-нибудь судно, которое окажет мне, как потерпевшему бедствие, помощь. Потом стал обдумывать следующий план. Я тайно проберусь на одну из ракет, совершающих рейс на самые отдаленные планеты, а когда она оставит позади, скажем, орбиту Марса, выйду из укрытия. Я рассчитывал на то, что восхищенный моим горячим энтузиазмом руководитель экспедиции сделает меня по крайней мере своим помощником. Я даже приготовил несколько – в зависимости от обстоятельств – вариантов речи, которая должна была прозвучать для него убедительно. Все эти проекты были пустыми грезами, но отнимали у меня много времени. Я запоем читал космические романы, но учился неважно и, когда в классе меня выводили из «космической» задумчивости каким-нибудь вопросом, отвечал невпопад. Мне и в голову не приходило, что добрая бабушка весьма своеобразно толкует мое поведение. То, что я за обедом, поднеся ложку ко рту, внезапно застывал и устремлял взгляд в пространство, не блистал успехами в учении, сторонился людей, в ее глазах было несомненным признаком созревающего художественного таланта. Полная самых радужных предчувствий, она подарила мне ко дню рождения прекрасный белый генетофор, на котором сама иногда упражнялась одним пальцем. Поначалу я попробовал на нем свои силы, чтобы доставить бабушке удовольствие, но затем меня действительно заинтересовала видеопластика. Это искусство возникло в прежние времена из сочетания так называемого кино, литературы, объемного и цветного телевидения. При помощи генетофора художник, для которого этот аппарат – то же самое, что для композитора фортепьяно, может воспроизвести образ, возникающий в его воображении. Он может создавать картины, действие которых разворачивается в придуманных мирах, может конструировать любые воображаемые существа – полурастения и полуживотные. Все это – результат комбинаций световых полей, создающихся при игре на генетофоре.

Сначала это занятие очень меня занимало. Я запирался в комнате и усаживался перед широким экраном, положив руки на клавиатуру, состоящую из нескольких рядов клавиш. Пройдясь пальцами по десятку-другому клавиш, я нажимал пуск, и вот в глубине экрана появлялся

созданный мной образ. Но потрясло меня не первое его явление; потрясло то, что это создание было наделено определенной, хотя поначалу и незначительной самостоятельностью: оно двигалось, ходило, словно изучая пространство, в котором было замкнуто. Правда, в нем обычно обнаруживались серьезные изъяны – говоря языком художников, была нарушена гармония. И я одним прикосновением пальца к клавишу стирал этот образ с экрана и приступал к новым попыткам.

Конечно, каждый начинающий художник, упражняясь, терпит много неудач, создавая неполноценные образы, но я в этом отношении побивал рекорды. Должен признаться, что мне даже во сне являлись целые толпы созданных мной существ, страшных, дышащих местью за неумелое оживление и грубое устранение из этого минутного бытия.

Видеопластика несколько не отличается от различных форм искусства древности, и генетофор представляет как бы усовершенствованную палитру или перо; познав его устройство, начинающий творец уравнивается с писателями прошлых времен, овладевшими принципами правописания. Более удачным мне кажется сравнение видеопластики с музыкой: видеопластик гармонизирует, согласовывает различные психические черты, как музыкант – звуки; у музыканта возникает мелодия, а у видеопластика появляется герой драмы. Композитор, оркеструющий симфоническую тему, прежде чем записать на нотной бумаге хотя бы один знак, заранее слышит в своем воображении общее звучание всех инструментов. Так и у видеопластика самая трудная, самая творческая часть работы происходит до того, как он нажмет на первый клавиш генетофора: он должен раньше создать героев в своем воображении, только тогда могут возникнуть образы, которые подчинятся его воле и судьбы которых будут волновать зрителей. Однако этому никто не может научить, если человек лишен таланта. А сама по себе сноровка в обращении с аппаратом годится единственно лишь для создания дергающихся манекенов и жутких, надуманных сценариев, что, собственно, и произошло со мной.

Многие лишь несколько лет спустя после начала занятий видеопластикой понимают, насколько обманчив мираж творческого всемогущества, которым их соблазнило это искусство, какой огромной ложью становится оно, когда человек забывает о подлинных судьбах человечества ради мечты о воображаемых мирах. К счастью, отсутствие таланта у меня было столь явным, что я ни минуты не думал о том, чтобы серьезно заняться

видеопластикой, и мои художественные опыты завершились тем, что я разобрал генетофор на части, чтобы ознакомиться с его устройством. Бедная бабушка, увидев результаты моих стараний, испытала горькое разочарование, на этот раз – последнее; теперь в семье не на кого уже было надеяться.

Обычно молодой человек, получив среднее образование, проводит по несколько месяцев в различных свободно избираемых институтах и университетах, где в тесном контакте с учеными, инженерами и техниками выявляет свои симпатии и склонности. Окончив школу в семнадцать лет, я долго колебался, не зная, куда идти, пока не поступил в меорийский филиал Института планирования будущего. Здесь я впервые встретился с людьми, работавшими над проектами экспедиции за пределы Солнечной системы.

В те времена еще не достигали таких скоростей, которые позволили бы преодолеть расстояние от Земли до отдаленных звезд на протяжении одной человеческой жизни. Вы, наверное, помните ожесточенные дискуссии, которые велись в начале нашего века вокруг проектов строительства космических кораблей для полетов в глубь Галактики. Поскольку путешествие предстояло долгое, предполагалось, что на космических кораблях должна происходить «смена поколений», то есть цели могли достичь лишь внуки и даже правнуки людей, отправившихся с Земли. Это казалось в то время неизбежностью, продиктованной уровнем звездоплавательной техники. Но такое решение проблемы вызывало резкое и всеобщее сопротивление. Было что-то унижительное и недостойное в животном прозябании людей, запертых на десятки лет в металлической скорлупке и брошенных в бесконечную пустоту. Помимо эмоционального неприятия, против такого положения восставал и разум.

«Какими, – размышляли одни участники споров, – будут люди, вынужденные десятки лет соприкасаться с пустотой? Не превратятся ли они в морально и умственно неполноценные существа? И сколь унижительна по сути своей роль подопытных насекомых, которая выпадет на долю так называемых «промежуточных» поколений, вынужденных провести всю жизнь, от рождения и до смерти, в ракете? Чему научат, как воспитают они тех, кто в конце концов доберется до звезд?!»

«Все это верно, – отвечали им другие. – Трудности и опасности такого

путешествия исключительно велики. Однако лететь к звездам необходимо. После того как мы освоим Солнечную систему, хозяйственно обустроим сначала близкие, а потом, во второй половине третьего тысячелетия, и далекие планеты, вплоть до последней из них – Цербера и его спутников, человечество должно осуществить следующий шаг вперед – прыжок через Океан Пустоты, отделяющий нас от ближайшего солнца другой системы. Можно на некоторое время отложить экспедицию, но предпринять ее необходимо; если мы от нее откажемся, неизбежен застой, а через десяток-другой веков – и гибель земной цивилизации».

Открытие новых видов атомного горючего и методов высвобождения атомной энергии из любого вида материи сделало технически возможным полет со скоростью, близкой к скорости света, но вместе с тем поставило новый вопрос: может ли человек вообще, даже применяя любые средства предосторожности, передвигаться со скоростью ста или двухсот тысяч километров в секунду?

Оптимисты допускали, что эту задачу можно будет сравнительно легко решить в пространстве, удаленном на большое расстояние от полей тяготения планет, и при условии, что ракеты будут ускорять ход постепенно. Они напоминали, что уже многие века тому назад возникали теории, будто пределом биологических возможностей человека являются скорости сначала в 30, затем в 100, а впоследствии в 1000 километров в час. Из одного столетия в другое эта граница отодвигалась все дальше.

Более осторожные люди говорили, что при скоростях, приближающихся к скорости света, начнут действовать определенные последствия теории относительности, влияние которых на жизненные процессы совершенно неизвестно и может быть выявлено лишь на основе опыта.

Так возникли Институты скоростных полетов, разбросанные по всей Земле и другим планетам, и филиалы Института планирования будущего. Сотрудники этих институтов обнаружили таинственное явление, известное под названием «мерцание сознания»: человек, находящийся в ракете, скорость которой достигает ста семидесяти – ста восьмидесяти тысяч километров в секунду, испытывает особое помутнение сознания, которое при дальнейшем ускорении приводит к обмороку, грозящему смертью. Скорость в 170.000 километров в секунду получила название «околосветового порога»; с такой именно скоростью должна лететь ракета,

направляемая на ближайшую звезду.

Таково было положение в науке, когда я впервые познакомился с коллективом Института планирования будущего. Ошеломленный перспективами, какие открывала работа этих людей, я решил постараться любой ценой быть принятым в институт. Для этого надо было стать специалистом либо по кибернетике, либо по звездоплаванью или медицине. Немного поразмыслив, я начал заниматься в известном своими замечательными традициями Институте общей кибернетики в Меории. Занятия шли хорошо, но через год я стал жалеть о том, что избранный предмет не имеет ничего общего с полюбившимся мне звездоплаванием, и после некоторых колебаний дополнительно записался на курс космодромии. Нагрузка увеличивалась тем, что тайны кибернетики я постигал в Меории, а лекции по звездоплаванию слушал в университете, расположенном у подножия Лунных Апеннин. Хотя я легко мог попасть в любое учебное заведение Земли, но тот факт, что мне ежедневно приходилось летать на Луну, поднимал меня в собственных глазах и как бы подчеркивал мою неординарность. Каждый день я проводил два часа в ракете и лишь в ней находил время утолить голод. Все это было, конечно, чистым безумием. Я недоедал и недосыпал под гнетом добровольно взваленных на себя обязательств, но вместе с тем мне было так хорошо, что об этом периоде моей жизни я не могу подумать без улыбки. Я считал себя человеком разносторонним, наделенным большими способностями и, главное, загадочным и принимал все меры к тому, чтобы никто из моих коллег на Луне не знал о моих занятиях в Гренландии и наоборот.

Так прошло два года. Завершив начальный цикл занятий кибернетикой, я неплохо сдал экзамены по теории ракетных полетов и отправился на летние каникулы домой. Я прилетел поздним вечером. Мама сказала, что я разминутся с отцом, – его только что вызвали на операцию. Мы долго сидели на веранде, любуясь звездными дождями на июльском небе. Время от времени с западного края горизонта навстречу им устремлялись огненные перпендикуляры. Это ракетный терминал в Меории, казалось, салютовал вспышками стартующих ракет посланцам Космоса – метеоритам.

Далеко за полночь отец сообщил, что вернется поздно, и просил его не ждать. Мама устроила мне постель в комнате, где когда-то была детская, и, едва улегшись, я уснул как убитый. Проснулся, когда уже был белый день.

Во всем доме стояла тишина. Я спустился в столовую, чтобы пройти через нес в сад, и в дверях столкнулся с отцом. Я застыл, удивленный этой встречей, так как был уверен, что он еще спит. Оказалось, что отец вернулся в третьем часу утра и сейчас поднялся лишь для того, чтобы связаться с госпиталем. Мы постояли с минуту, как бы не зная, что делать в этой комнате, залитой зеленым, похожим на подводный светом, проникавшим сюда сквозь завесу вьющихся растений. В своем длинном домашнем халате отец казался старше, чем обычно. Бледный, с темными кругами под глазами, он, казалось, еще не вышел из ночи – так был далек его облик от светлого, солнечного дня, уже властвующего на дворе. Отец казался ниже, чем раньше, – но, может быть, это вырос я? В голове мелькнула мысль, что он на пороге старости, и сердце у меня сжалось от нежности и грусти. Кем он был? Он не создал ничего – не провел ни одной выдающейся операции, не предложил ни одного нового метода лечения, не сделал ни одного открытия; он не был даже известным хирургом. О нем говорили: «хорошие руки», «хороший глаз», но более ничего – он был обычный врач-хирург. Его братья изменяли климат планет, создавали гигантские конструкции в космическом пространстве, оставляли осязаемые, прочные следы своей работы. А он?.. Молча, мимоходом я поцеловал его в небритую щеку и хотел выйти в сад.

Он остановил меня.

– Ты, кажется, хочешь поступить в Институт планирования будущего?

Я подтвердил это.

– Прежде ты хотел получить все, а теперь хочешь стать всем...

На лице отца не было улыбки. Он стоял, ожидая ответа, но я промолчал. Отец вздохнул, но тоже ничего не сказал. Протянул руку, кончиками пальцев слегка коснулся моего плеча и ушел в кабинет. Я остался один, выведенный из душевного равновесия, немного взволнованный, немного злой. Вышел в сад, но мне уже не хотелось слоняться по местам детских игр. Я лег на теплую траву и через минуту перестал думать об отце, подставляя лицо лучам стоявшего в зените над Гренландией искусственного атомного солнца, излучавшего яркий платиновый свет, и солнца настоящего, бледный диск которого поднимался над горизонтом. Мне вдруг припомнился эпизод моего последнего восхождения на Луне:

трос застрял в расщелине скалы, и если бы человек не весил там в шесть раз меньше, чем на Земле...

Какая-то тень проплыла по моему лицу, за ней вторая, третья. К нам кто-то прилетел: вертолеты приземлялись на лужайках в глубине сада.

Приподнявшись на локтях, я увидел первых людей, выбравшихся из машин, а высоко над домом заметил стайку новых машин, сверкающих винтами. Несколько минут спустя с запада прибыли еще десятка два. Опустившись, они зависли над верхушками деревьев. Прибывших становилось все больше, руками они давали знаки вновь прилетающим, некоторые что-то прятали за спиной. Удивляясь этому все сильнее, я встал, а вертолеты все садились на лужайках. Гости толпились как-то беспорядочно, вроде бы нерешительно и наконец направились к дому.

Я настолько опешил, что, когда они приблизились ко мне, вместо ответа на приветствия пробормотал:

– Что... что тут будет?

– Мы прилетели на юбилей, – ответили несколько голосов сразу.

– Что?

– Мы прилетели на пятидесятилетие работы доктора...

– Ты его сын? – спросила низкорослая седая женщина.

Ее волосы в лучах солнца отливали живым серебром. У меня возникло безумное желание нырнуть в кусты, но ноги словно приросли к земле. Значит, сегодня пятидесятилетний юбилей врачебной деятельности отца, а я об этом ничего не знал... А он? Он, пожалуй, помнил...

Около дома собирался народ, по саду по-прежнему проплывали тени идущих на посадку вертолетов. Этот звездный слет продолжался. Теперь машины приземлялись уже за пределами сада, потому что на дорожках и газонах не было места. Отовсюду доносился приглушенный говор. Вдруг открылись двери, и на пороге показался отец. Он инстинктивно запахнул полы халата и замер с непокрытой головой и растрепанными волосами; на щеке у него отпечатался узор ткани – он, вероятно, дремал, прислонившись к спинке кресла. Он стоял, глядя на море голов, а вокруг воцарилась такая

тишина, что слышен был замирающий шелест опускающихся машин. Внезапно отец рванулся вниз, как бы собираясь броситься навстречу всем, но на середине лестницы остановился. Он поднял руки и опустил их, приоткрыл рот и ничего не сказал. В толпе началось движение; люди стали подходить к лестнице, протягивать ему цветы – по большей части это были небольшие букеты, – но вскоре он уже не мог удержать их, и новые гости клали цветы на ступеньки. Тут были маки и васильки из австралийских пшеничных заповедников, белые магнолии, африканские лотосы, орхидеи, букетики маргариток, цветущие яблоневые ветки из Антарктиды, где только начиналась весна, и крупные белые розы, которые росли лишь в оранжереях Луны. Тот, кто положил свой дар, молча отодвигался в сторону, и отец провожал его взглядом, в котором иногда мелькало смутное воспоминание. Тогда его губы начинали беззвучно шевелиться, но к нему уже подходил другой человек. Над садом, как тяжелые птицы, взмывали улетающие вертолеты. И по мере того, как толпа уменьшалась, груда цветов на лестнице росла.

В какой-то момент в глубине сада появились девять стариков в блестящих белых скафандрах; они шли, обнажив седые головы, с трудом справляясь с тяжестью одежды, предназначенной для межпланетных полетов, – они давно отвыкли от скафандров. У меня замерло сердце: на груди у каждого из них был значок пилота с Нептуна. А ведь и правда, отец когда-то, еще до того, как познакомился с матерью, работал врачом на ракетах; правда, об этом он никогда не говорил. Пилоты, подойдя к веранде, отцепили серебряные значки и один за другим ударами ладони вбили их остриями в доску нижней ступеньки, так что доска, потемневшая и вытертая тысячами ног, вдруг засверкала, словно украшенная серебряными гвоздями.

Потом мы остались одни в пустом, залитом солнцем саду. Отец, до сих пор стоявший неподвижно, вдруг вздрогнул и сделал шаг назад. Цветы посыпались из его рук. Найдя ощупью дверь, он скрылся в доме.

А я все вслушивался в шум удаляющихся машин. Через несколько мгновений появилась еще одна, пролетела с мягким шумом над деревьями и приземлилась. Из нее выскочил человек в комбинезоне; быстро оглядевшись вокруг, он подбежал к веранде, бросил что-то на груду цветов и так же быстро вернулся в вертолет.

У меня было отличное зрение, и я издали рассмотрел этот последний

подарок: связка красноватых сухих и колючих веток ареозы –
единственного цветущего растения на Марсе.

МАРАФОНСКИЙ БЕГ

«Люди славили мудреца за его любовь к ним, однако, если бы они не сказали об этом, мудрец так и не узнал бы, что любит их». Эти слова древнего философа говорят о моем отце лучше, чем любое определение, какое я мог бы придумать. Многие спрашивают себя: «Правильно ли я избрал профессию, счастлив ли я, хорошо ли мне жить?» – и не единожды отвечают: «Да». Отец никогда не задавал себе подобных вопросов: они не приходили ему в голову, и он, наверное, счел бы их такими же бессмысленными, как вопрос: «Живу ли я?»

Его братья служили обществу своими знаниями. Он делал то же, а когда наука оказывалась бессильной и битва за жизнь больного была проиграна, он оставался при умирающем, но уже не как врач, а как страдающий человек. Его братья испытывали то радость успехов, то горечь поражений. Отец всегда оставался самым собою, и его никогда не покидала тяжесть ответственности – она была для него тем же, что для наших тел – земное тяготение, которое заставляет мускулы совершать усилия, постоянно напрягаться, преодолевать тяжесть тела, но без которого жизнь была бы невыносимой.

После глубоко врезавшихся мне в память летних каникул я ушел со старшего курса Института кибернетики и занялся медициной. Это новое решение, принятое с такой же головокружительной быстротой, с какой я принимал предыдущие, было попыткой проникнуть в смысл основных ценностей жизни и хоть немного искупить свою вину перед отцом – попыткой запальчивой и наивной, поскольку я не имел понятия о том, что, собственно, такое профессия врача. Оправдать меня может лишь то, что я окончил медицинский факультет и в то же время не оставил главной своей цели: участвовать в звездной экспедиции.

Годы занятий медициной остепенили меня. От предыдущего периода жизни осталось немного: чертежи и проекты, хранимые не потому, что они могли пригодиться, а для самоуспокоения – что те годы я не потерял совсем уж понапрасну. Бабушка нашла некоторое утешение в том, что хоть я и не

стал художником, однако у меня проявился талант, правда, совсем неожиданный: в университете меня стали считать восходящей звездой в беге на длинные дистанции. Я завоевал звание чемпиона континента среди студентов, а к концу занятий – чемпиона Северного полушария.

Получив диплом, я поступил в хирургическую клинику. Когда полгода спустя руководство экспедиции к созвездию Центавра объявило о наборе экипажа, я стал добиваться должности ассистента профессора Шрея, назначенного первым хирургом межзвездного корабля. Тому имелось препятствие: у меня не было профессионального опыта, но, поскольку в экспедицию подбирали людей с разносторонней подготовкой, я рассчитывал, что мои занятия звездоплаванием и кибернетикой получат решающее значение. Когда я выдвинул свою кандидатуру, один из астронавтов сказал мне, что ответа придется ждать долю, – дескать, наплыв желающих очень велик и каждое заявление рассматривается весьма тщательно. «Однако, – тут он улыбнулся, – такой урок терпения может оказаться крайне полезным на будущее, потому что в ракете нам придется много лет ожидать достижения цели...» Он сказал: «Нам придется», и, хотя это был лишь случайный оборот речи, я жил этими словами четыре месяца.

Дома я не находил себе места и надолго уходил в лес. Была осень, деревья с голыми ветками, резко выделявшимися на фоне голубого неба, неподвижно стояли в желтоватых лучах словно постаревшего солнца. Так ходил я целыми часами, пока не наступала ночь и на небосклоне не высыпали звезды; я останавливался, поднимал голову и долго вглядывался в звездное небо. Уже ударил первый мороз, под ногами шуршали сухие листья, отовсюду тянуло холодным терпким запахом гниения, запахом разложения мертвых растений, но ни в одну весну у меня не билось сердце так сильно, как этой поздней осенью в безлистом лесу.

Какими странными путями идет история человечества! Как часто то, что живущим вчера казалось непонятным сплетением запутанных, противоречивых обстоятельств, в которых люди с трудом продвигаются вперед и отступают под воздействием ошибок, их потомкам в перспективе времени представляется очевидной необходимостью, а повороты, подъемы и спуски на пройденном пути становятся такими же понятными, как строки письма, составленные из простых и ясных слов.

Когда-то, много веков назад, задолго до эры звездоплавления, люди считали,

что межпланетные путешествия невозможны без промежуточных станций за пределами земной атмосферы – так называемых искусственных спутников. Затем с развитием техники оказалось, что такой взгляд неверен: межпланетное сообщение развивалось в течение семисот лет совершенно независимо от искусственных спутников, на которых размещались лишь астрономические обсерватории и станции регулирования погоды. Однако пришло время, когда – на новом этапе развития – все-таки возникла необходимость создания промежуточных станций. Это произошло, когда человечество созрело для межзвездных полетов. Настало время создавать межзвездный корабль, и оказалось, что его надо строить во внеземном пространстве: его гигантские размеры не позволяли ни стартовать, ни приземляться на нашей планете. Ведь когда-то и крупные океанские корабли не могли входить в небольшие порты и становились на якорь далеко от берега, сообщаясь с портом посредством маленьких судов. Подобно этому и «Гея», первый межзвездный корабль, построенный в межпланетном пространстве на расстоянии 180.000 тысяч километров от Земли, не была рассчитана на то, чтобы приземляться на какой-либо планете. Она должна была лишь снижаться до верхних слоев атмосферы и, плавая в них, выбрасывать из себя ракеты связи. Так уже в мое время в безвоздушном пространстве возникла первая верфь, где строили корабли для межзвездных полетов.

За одной из первых фаз постройки звездного корабля мне удалось наблюдать с четвертого искусственного спутника. Я стоял на остекленной смотровой палубе, на вершине металлического корпуса, в толпе любопытных. Ракеты прямого сообщения непрерывно доставляли сюда все новых туристов.

Верфь была покрыта тенью, которую отбрасывала Земля – ее ночное полушарие зияло в небе, словно огромный колодец, наполненный чернотой. Стройку освещали размещенные в пустоте и передвигавшиеся то в одну, то в другую сторону, подобно маятникам, юпитеры; каждый отбрасывал двенадцать лучей, и они сверкали молниями далеко внизу, отражаясь от зеркально отполированных стальных плит, уложенных рядами на корпусе корабля. На его поверхности работали автоматы: одни сновали без усталости вперед и назад подобно челнокам гигантского ткацкого станка, другие ежеминутно поднимались над корпусом, то вспыхивая в лучах прожекторов, то исчезая во мраке. В бинокль можно было рассмотреть огромные арки и балки конструкций, которые эти маленькие создания

легко переносили с места на место – все предметы здесь были невесомыми. Над строительной площадкой вились разноцветные полосы дыма, выбивавшегося из-под сварочных аппаратов. Длинные хвосты цветных искр, свешиваясь по бокам строящегося корабля, собирались в облака, которые лениво тянулись вслед за ракетами, мигающими бортовыми огнями; облака были пронизаны в разных направлениях десятками лучей. В этом буйстве света утрачивали свою яркость и казались бледными звезды, создававшие фон стройки. Вся площадка совершала по отношению к нашему наблюдательному пункту, отстоявшему от нее в тридцати километрах, величественно-медленное вращение, из-за чего рефлекторы, которые поначалу светили «наверху», под конец оказывались «внизу» – при всей условности этих понятий в пространстве, лишенном силы тяжести.

Прошло одиннадцать месяцев непрерывных работ, и автоматы исчезли: те,

что принадлежали к его механической прислуге, вползли внутрь корабля, остальные удалились на одну из своих баз. «Гея», освобожденная от лесов, двигалась подобно искусственной Луне вокруг Земли – огромная, серебристая, молчаливая. В ее бездонных соплах еще ни разу не сверкнули вспышки атомного огня.

Отец мой любил поэзию, но эта любовь проявлялась довольно своеобразно: он называл стихи «помощью», говорил, что помощь нужна не всегда, и потому очень редко читал любимых поэтов. Лишь иногда ночью в окне его комнаты загорался свет: отец брался за томик стихов. Такой же помощью для меня в течение многих месяцев ожидания был альпинизм. Когда мне становилось очень не по себе, я просил друзей заменить меня в клинике и совершал в одиночку восхождения на труднодоступные горные вершины.

И вдруг, как-то неожиданно, над моей головой разразился ливень событий: я получил от первого астрогатора экспедиции извещение, что включен в состав экипажа, увидел свое имя в списке участников летних Олимпийских игр и... познакомился с Анной.

У нее были светлые умные глаза, выразительные, чуть полноватые губы. Она изучала геологию, любила музыку и старые книги – больше я о ней

почти ничего не знал. Не видя ее, я был уверен, что очень ее люблю; когда мы встречались, я терял эту уверенность. Сознательно и бессознательно мы причиняли друг другу мелкие, но чувствительные огорчения, между нами непрерывно происходили недоразумения – сегодня трагические, завтра пустяковые. Но я страдал от них, а страдания – об этом я знал из книг – всегда сопутствуют большому чувству. Так окольным, хотя логически точным путем я приходил к выводу, что люблю Анну. А она? Я не знал об этом ничего определенного. Когда мы бывали вместе, ее взгляд часто уходил куда-то вдаль, открытый и отчужденный, словно она вверяла его чему-то, мне не доступному. Это сердило меня. Когда она была уступчивой, становился покорным и я. Наши отношения были какими-то туманными, полными недомолвок, предположений и ожиданий, невыносимыми и вместе с тем прекрасными.

Все это происходило весной. Мы ходили по садам, слушали, как птицы учатся петь песни, сидели на скамьях у кустов, осыпанных зелеными почками; я рвал их, вертел в пальцах и бессмысленно крошил, как будто собирался придать еще неразвернувшимся, склеенным почкам образ будущих цветов. Нам больше всего не хватало единственного, что позволило бы развиваться нашим чувствам, – времени. Только время могло все прояснить, связать нас или развести. Но у нас его не было. Срок отлета приближался. Я не раз собирался окончательно поговорить с Анной и каждый раз откладывал этот разговор.

А тут еще близилась Олимпийские игры. То и другое гнало от меня сон. Странное сочетание? Может быть, но так уж складывалась моя жизнь! Я знал, что мой первый марафонский бег на Олимпийских играх станет последним: возвратившись из экспедиции, я буду слишком стар. Победить перед отлетом – каким бы это было великолепным прощанием с Землей! Отправиться к звездам с лавровым венком на челе!

В свои двадцать пять лет я был склонен к философским обобщениям и сказал себе: вот у тебя есть все, чего ты хотел – диплом об образовании, участие в космической экспедиции, олимпийские соревнования и любовь, – и все же ты не счастлив. Действительно, какое мудрое изречение: «Дай человеку все, чего он желает, и ты погубишь его!»

В таком настроении я приходил на тренировки. Бегал по круговой дорожке стадиона и по поросшим травами холмам побережья, по широким аллеям

университетского парка, всегда один, с секундомером в руке, под палящим июньским солнцем, в сопровождении непрерывного шума океана. Я тренировался только по утрам; пробежав свои двадцать километров, мчался в отборочный лагерь, где уже месяц жили будущие участники экспедиции. Это был городок, расположенный среди старых кедровых лесов у подножия горного хребта Каракорум. Городок назывался Кериам, однако к нему пристало неизвестно кем пущенное в обращение название «Чистилище», поскольку для его обитателей лагерь был промежуточным пунктом между Землей и палубой ракеты.

Нелегко описать атмосферу, царившую в Чистилище. Много времени уходило на подготовительные занятия и лекции по самым разнообразным отраслям знания. Целью их была всесторонняя подготовка участников экспедиции к предстоящему путешествию. Одновременно проводилось обследование будущих звездоплавателей: физиолога, биологи и врачи в ослепительно белых халатах сновали по лабораториям, из которых вырывался свист вращающихся скоростных кабин. Время от времени среди сияющих лиц попадались и опечаленные: это врачи вынесли кому-то безапелляционный приговор, закрывавший бедняге дорогу к звездам.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)